



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нём мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нём сюжет, будут расстреляны.

По приказу автора  
Генерал-губернатором  
Начальником артиллерийского управления

## ОБЪЯСНЕНИЕ

В этой книге использовано несколько диалектов, а именно: негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолустного диалекта Пайк-Каунти, а также четыре несколько смягчённых разновидности этого последнего. Оттенки говора выбирались не наудачу и не наугад, а, напротив, очень тщательно, под надёжным руководством, подкреплённым моим личным знакомством со всеми этими формами речи.

Я даю это объяснение потому, что без него многие читатели предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре подражать один другому и это им не удаётся.

Автор





## Глава I

**В**ы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего, я ещё не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тёти Полли и вдовы, да разве ещё Мэри. Про тётю Полли — это Тому Сойеру она тётя, — про Мэри и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке, и там почти всё правда, только кое-где приврано, — я уже про это говорил.

А кончается книжка вот чем: мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата — и всё золотом. Такая была куча деньжищ — смотреть страшно! Ну, судья Тэтчер всё это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли, и так круглый год, — не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать; только мне у неё в доме жилось неважно: уж очень она донимала всякими порядками и приличиями, просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал, надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже,

если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Ну, я и вернулся.

Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами; но, разумеется, ничего обидного у неё на уме не было. Опять она одела меня во всё новое, так что я только и знал, что потел, и целый день ходил как связанный. И опять всё пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать — непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду: надо подождать, пока вдова не нагнёт голову и не побормочет немножко над едой, а еда была, в общем, не плохая; одно только плохо — что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков! Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче.

В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках<sup>1</sup>, а я просто разрывался от любопытства — до того хотелось узнать, чем дело кончится; как вдруг она проговорила, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно, — плевать я хотел на покойников.

Скоро мне захотелось курить, и я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила: сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая и мне надо от неё отучаться. Бывают же такие люди! Напустятся на что-нибудь, о чём и понятия не имеют. Вот и вдова тоже: носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня — да и вообще кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете, — а меня ругает за то, что мне нравится курить. А сама небось нюхает табак — это ничего, ей-то можно.

Её сестра, мисс Уотсон, порядком усохшая старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житьё и сразу

---

<sup>1</sup> Согласно библейской легенде, мать пророка Моисея положила своего младенца в просмолённую корзину и спрятала в тростниках на берегу Нила, потому что фараон приказал уничтожить всех новорождённых мужского пола в еврейском племени. Дочь фараона нашла Моисея и воспитала его.

же пристала ко мне с букварём. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я всё вертелся на стуле. А мисс Уотсон всё приставала: «Не клади ноги на стул, Гекльберри!», «Не скрипи так, Гекльберри, сиди смиренно!», «Не зевай и не потягивайся, Гекльберри, веди себя как следует!» Потом она стала проповедовать насчёт преисподней, а я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она просто взбеленилась, а я ничего плохого не думал, лишь бы удрать куда-нибудь, до того мне у них надоело, а куда — всё равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама нипочём бы так не сказала: она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадёт, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал — всё равно никакого толку не будет, одни неприятности.

Тут она пустилась рассказывать про рай — и пошла и пошла. Будто бы делать там ничего не надо — знай прогуливайся целый день с арфой да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает: попадёт ли туда Том Сойер? А она говорит: «Нет, ни под каким видом». Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе.

Мисс Уотсон всё ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а после того все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком свечки и поставил его на стол, сел перед окном и попробовал думать о чём-нибудь весёлом, — только ничего не вышло: такая напала тоска, хоть помирай. Светили звёзды, и листья в лесу шелестели так печально; где-то далеко ухал филин — значит, кто-то помер; слышно было, как кричит козодой и воет собака, — значит, кто-то скоро пойдёт. А ветер всё нашёптывал что-то, и я никак не мог понять, о чём он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того как стонет привидение, когда оно хочет рассказать, что у него на душе, и не

может добиться, чтобы его поняли, и ему не лежит спокойно в могиле: вот оно скитается по ночам и тоскует. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной... А тут ещё паук спустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съёжился. Я и сам знал, что это не к добру, хуже не бывает приметы, и здорово перепугался, просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился, потом взял ниточку и перевязал себе клочок волос, чтобы отвадить ведьм, — и всё-таки не успокоился: это помогает, когда найдёшь подкову и, вместо того чтобы прибить над дверью, потеряешь её; только я не слышал, чтоб таким способом можно было избавиться от беды, когда убьёшь паука.

Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку; в доме теперь было тихо, как в гробу, и, значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени; я услышал, как далеко в городе начали бить часы: «бум! бум!» — пробило двенадцать, а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями треснула ветка, — что-то там двигалось. Я сидел на шевелясь и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул еле слышно: «Мя-у! Мя-у!» Вот здорово! Я тоже мяукнул еле слышно: «Мяу! Мяу!», а потом погасил свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу — так и есть: Том Сойер меня дожидается.



## Глава II

**Мы** пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели на корточки и затихли. Большой негр мисс Уотсон — его звали Джим — сидел на пороге кухни; мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла

свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался, вытянув шею; потом говорит:

— Кто там?

Он ещё послушал, потом подошёл на цыпочках и остановился как раз между нами: можно было до него дотронуться пальцем. Ну, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно, а мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся; потом зачесалось ухо, потом спина, как раз между лопатками. Думаю, если не почесусь, просто хоть помирай. Я это сколько раз потом замечал: если ты где-нибудь в гостях, или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь — вообще, когда никак нельзя чесаться, — у тебя непременно зачесется во всех местах разом.

Тут Джим и говорит:

— Послушайте, кто это? Где же вы? Ведь я всё слышал, свинство какое! Ладно, я знаю, что мне делать: сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу.

И он уселся на землю, как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что едва не задел мою ногу. У меня зачесался нос. Так зачесался, что слёзы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начало чесаться в носу. Потом зачесалось под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь, а мне казалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в одиннадцати местах сразу. Я решил, что больше минуты нипочём не вытерплю, но кое-как сдержался: думаю — уж постараюсь. И тут как раз Джим начал громко дышать, потом захрапел, и у меня всё сразу прошло.

Том подал мне знак — еле слышно причмокнул губами, — и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я сказал: «Лучше не надо, он проснётся и поднимет шум, и тогда увидят, что меня нет на месте». Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его останавливал, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось





рискнуть; мы забрались туда, взяли три свечки, и Том оставил на столе пять центов в уплату. Потом мы с ним вышли; мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго, — так было кругом пусто и молчаливо.

Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что стащил шляпу с Джима и повесил её на сучок как раз над его головой, а Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нём по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чьё это дело. А в другой раз Джим рассказывал, будто они доехали на нём до Нового Орлеана; потом у него с каждым разом получалось всё дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нём вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была

вся стёрта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рот, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм; но как только кто-нибудь заведёт об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет: «Гм! Ну что ты можешь знать про ведьм!» И этот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку Джим надел на верёвочку и всегда носил на шее; он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам чёрт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм, когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой; но Джим никогда не говорил, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму всё, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку; однако они ни за что на свете не дотронулись бы до неё, потому что монета побывала в руках у чёрта. Работник он стал теперь никуда не годный — уж очень возгордился, что видел чёрта и возил на себе ведьм по всему свету.

Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз, на городок, там светилось всего три или четыре огонька — верно, в тех домах, где лежали больные; вверху над нами так ярко сияли звёзды, а ниже города текла река в целую милю шириной, этак величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и ещё двух или трёх мальчиков; они прятались на старом кожевенном заводе. Мы отвязали ялик и спустились по реке мили на две с половиной, до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег.

Когда подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру — там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечи и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, шагов двести, и тут открылась пещера. Том потолкался по проходам и скоро нырнул под стенку в одном

месте, — вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились.

Том сказал:

— Ну вот, мы соберём шайку разбойников и назовём её «Шайка Тома Сойера». А кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью.

Все согласились. И вот Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочёл её. Она призывала всех мальчиков дружно стоять за шайку и никому не выдавать её тайн; а если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то тот, кому велют убить обидчика и всех его родных, должен не есть и не спать, пока не убьёт их всех и не вырежет у них на груди крест — знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке; а если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд; если же он опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а после того сожгут труп и развеют пепел по ветру, кровью вычеркнут его имя из списка и больше не станут о нём поминать, а проклянут и забудут навсегда.

Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он её придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов, — у всякой поряточной шайки бывает такая клятва.

Некоторые думали, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том сказал, что это недурная мысль, взял и вписал её карандашиком.

Тут Бен Роджерс и говорит:

— А вот у Гека Финна никаких родных нет; как с ним быть?

— Ну и что ж, ведь отец у него есть? — говорит Том Сойер.

— Да, отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, всё валялся пьяный на кожевенном заводе, вместе со свиньями, но вот уже больше года его что-то не видно в наших краях.

Посоветовались они между собой и уж совсем собрались меня вычеркнуть, потому что, говорят, у каждого мальчика

должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну, и никто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал выход: взял да и предложил им мисс Уотсон — пускай её убивают. Все согласились.

— Ну что ж, она годится. Теперь всё в порядке. Гека принять можно.

Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью, и я тоже поставил свой значок на бумаге.

— Ну, а чем же эта шайка будет заниматься? — спрашивает Бен Роджерс.

— Ничем, только грабежами и убийствами.

— А что же мы будем грабить? Дома, или скотину, или...

— Чепуха! Это не грабёж, если угонять скотину и тому подобное, это воровство, — говорит Том Соьер. — Мы не воры. В воровстве никакого блеску нет. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги.

— И непременно надо их убивать?

— Ну ещё бы! Это самое лучшее. Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать — кроме тех, кого приведём сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкупа.

— Выкупа? А что это такое?

— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придётся так делать.

— Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?

— Ну, как-нибудь уж придётся. Говорят тебе, во всех книжках так, не слышишь, что ли? Ты что же, хочешь делать всё по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались?

— Ну да, тебе хорошо говорить, Том Соьер, а как же они станут выкупаться — чтоб им пусто было! — если мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое?

— Ну, уж не знаю. Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.

— Вот это ещё на что-нибудь похоже! Это нам подойдёт. Чего же ты раньше так не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверно, с ними не оберёшься — корми их да гляди, чтобы не удрали.

— Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой? Он застрелит их, как только они пошевельнутся.

— Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придётся сидеть и всю ночь не спать из-за того только, что их надо стеречь? По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?

— Потому что в книгах этого нет — по этому по самому. Вот что, Бен Роджерс: хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же — думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай! Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам.

— Ну и ладно. Мне-то что! Я только говорю: по-дурацки получается всё-таки... Слушай, а женщин мы тоже будем убивать?

— Ну, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, я бы больше молчал. Убивать женщин! С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливей, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой.

— Ну, если так, тогда я согласен, только смысла в этом не вижу. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет: столько набьётся женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, а самим разбойникам и деваться будет некуда. Ну что ж, валяй дальше, я ничего не говорю.

Маленький Томми Барнс успел уже заснуть и, когда его разбудили, испугался, заплакал и стал проситься домой к маме, сказал, что больше не хочет быть разбойником.

Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдёт и выдаст все наши тайны. Но Том дал ему пять центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдём домой, а на будущей неделе соберёмся и тогда кого-нибудь ограбим и уьём.

Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья; но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее, потом выбрали Тома Сойера в атаманы шайки, а Джо Гарпера — в помощники и разошлись по домам.

Я влез на крышу сарая, а оттуда — в окно, уже перед самым рассветом. Моё новое платье было всё закапано свечкой и вымазано в глине, и сам я устал как собака.



### Глава III

**Н**у и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за мою одежду! Зато вдова совсем не ругалась, только отчистила свечное сало и глину и такая была печальная, что я решил вести себя это время получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, но ничего не вышло. Она велела мне молиться каждый день — и чего я попрошу, то и дастся мне. Но не тут-то было! Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась, без крючков-то! Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но ничего почему-то не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обозвала меня дураком и даже не сказала за что. Так я и не мог понять, в чём дело.

Один раз я долго сидел в лесу, всё думал про это. Говорю себе: если человек может вымолить всё что угодно, так отчего же дьякон Уинн не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у неё украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтоб ей потолстеть? Нет, думаю, тут что-то не так. Пошёл и спросил у вдовы, а она говорит: можно молиться только о «духовных благах». Этого я никак не

мог понять; ну, она мне растолковала: это, значит, я должен помогать другим и делать для них всё, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботиться — так я понял.

Я пошёл в лес и долго раскидывал умом и так и этак и всё не мог понять, какая же от этого польза, разве только другим людям; и решил в конце концов не ломать над этим голову, может, как-нибудь и так обойдётся. Иной раз, бывало, вдова сама возьмётся за меня и начнёт рассказывать о промысле Божиим, да так, что прямо слюнки текут; а на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять за своё и опять собьёт меня с толку. Я уж так и рассудил, что есть два бога: с богом вдовы несчастный грешник ещё как-нибудь поладит, а уж если попадётся в лапы богу мисс Уотсон, тогда спуску не жди. Всё это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы, если я ему гожусь, хотя никак не мог понять, на что я ему нужен и какая от меня может быть прибыль, когда я совсем ничего не знаю, и веду себя неважно, и роду самого простого.

Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился; я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый, он, бывало, всё меня колотит, попадись только ему под руку; хотя я по большей части удирал от него в лес, как увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, в это самое время его выловили из реки, милях в двенадцати выше города — я слышал это от людей. Во всяком случае, решили, что это он и есть: ростом утопленник был как раз с него, и в лохмотьях, и волосы длинные-предлинные; всё это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать: он так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень было похоже. Говорили, что он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что вспомнил одну штуку. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И я опять стал беспокоиться. Я всё ждал, что старик вот-вот заживится, а мне вовсе этого не хотелось.

Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчики тоже. Никого мы не ограбили и не убили — так только, дурака валяли. Выбегали из леса и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней «слитками», а репу и зелень — «драгоценностями», а после, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что сделали и сколько человек убили и ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он называл «пароль» (знак для всей шайки собираться вместе), а потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов, с двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего четыреста солдат; так что мы устроим засаду, перебьём их всех и захватим добычу. Он велел наточить мечи, вычистить ружья и быть наготове. Он даже на воз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и начистить ружья, хотя какой толк их точить, когда это были простые палки и ручки от щёток, — сколько ни точи, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов, хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов, поэтому на другой день, в субботу, я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде; и как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы вниз. Но никаких испанцев и арабов там не было, верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресной школы, да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья, да ещё Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душеспасительную книжонку; а потом за нами погналась учительница, и мы всё это побросали — и бежать. Никаких алмазов я не видел, так я и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они всё-таки там были, целые горы



алмазов, и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю: «Почему же тогда мы ничего не видели?» А он говорит: «Если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочёл бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, всё дело в колдовстве». А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и всё прочее, только у нас оказались враги — чародеи, как Том их назвал, — и всё это они превратили в воскресную школу нам назло. Я говорю: «Ладно, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев». Том Соьер обозвал меня болваном.

— Да что ты! — говорит. — Ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь «мама» выговорить. Ведь они вышиной с дерево, а толщиной с церковь.

— Ну, — говорю, — а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьём мы тех, других, или нет?

— Как же это ты их вызовешь?

— Не знаю. А те как вызывают?

— Как? Потрут старую жестяную лампу или железное кольцо, и тогда со всех сторон слетаются духи, гром гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится, и всё, что духам ни прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно.

— Для кого же это они так стараются?

— Да для всякого, кто потрёт лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трёт лампу или кольцо, и должны делать всё, что он велит. Если он велит выстроить дворец в сорок миль длиной из одних брильянтов и наполнить его доверху жевательной резиной или чем ты захочешь и похитить дочь китайского императора тебе в жёны, они всё это должны сделать, да ещё за одну ночь, прежде чем взойдёт солнце. Мало того: они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь?

— Вот что, — говорю я, — по-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того чтобы валять дурака и упускать такой случай. Мало того: будь я дух, я бы

этого, с лампой, послал к чёрту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрёт какую-то дрянь!

— Придумал тоже, Гек Финн! Да ведь ты должен явиться, когда он потрёт лампу, хочешь ты этого или нет.

— Что? Это если я буду ростом с дерево и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь; только ручаюсь чем хочешь — я его загоню на самое высокое дерево, какое найдётся в тех местах.

— А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать! Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь — будто круглый дурак.

Дня два или три я всё думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет. Взял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошёл в лес и тёр и тёр, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе: выстрою дворец и продам; только ничего не вышло — никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов и в слонов, ну а я — дело другое: по всему было видать, что это воскресная школа.



## Глава IV

**Н**у так вот, прошло месяца три или четыре, и зима уж давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до шестью семь — тридцать пять, а дальше, я так думаю, мне нипочём не одолеть, хоть до ста лет учись. Да и вообще я математику не очень люблю.

Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне, бывало, уж очень надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпорет; это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко

всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык — как-то притерпелся. Всего тяжелей было приучаться жить в доме и спать на кровати; только до наступления холодов я всё-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житьё мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать, оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я исправляюсь понемножку и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится.

Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорей схватил щепотку соли, чтобы перекинуть её через левое плечо и отвести беду, но тут мисс Уотсон подросла некстати и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекльберри! Вечно ты насоришь кругом!» Вдова за меня заступилась, только поздно, беду всё равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и всё ломал голову, где эта беда надо мной стрясётся и какая она будет. В некоторых случаях можно отвести беду, только это был не такой случай, так что я и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды.

Я вышел в сад и перебрался по ступенькам через высокий деревянный забор. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы: кто-то шёл от каменоломни, потоптался немного около забора, потом пошёл дальше. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чём дело. Что-то уж очень чудно... Я хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил: на левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отводить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я побежал к судье Тэтчеру. Он сказал:

— Ну, милый, ты совсем запыхался. Ведь ты пришёл за процентами?

— Нет, сэр, — говорю я. — А разве для меня что-нибудь есть?



— Да, вчера вечером я получил за полгода больше ста пятидесяти долларов. Целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты истратишь их, если возьмёшь.

— Нет, сэр, — говорю, — я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо — ни шести тысяч, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе — и шесть тысяч, и всё остальное.

Он, как видно, удивился и не мог понять, в чём дело, потому что спросил:

— Как? Что ты этим хочешь сказать?

— Я говорю: не спрашивайте меня ни о чём, пожалуйста. Возьмите лучше мои деньги... Ведь возьмёте?

Он говорит:

— Право, не знаю, что тебе сказать... А что случилось?

— Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте меня — тогда мне не придётся врать.

Судья задумался, а потом говорит:

— О-о ! Кажется, понимаю. Ты хочешь уступить мне свой капитал, а не подарить. Вот это правильно.

Потом написал что-то на бумажке, перечёл про себя и говорит:

— Вот видишь, тут сказано: «За вознаграждение». Это значит, что я приобрёл у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Распишись теперь.

Я расписался и ушёл.

У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар величиной с кулак; он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал на нём. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух и этот дух всё знает. Вот я и пошёл вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь, я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил и уронил на пол. Шар упал, как камень, и откатился не дальше чем на дюйм. Джим попробовал ещё раз и ещё раз; получалось всё то же самое. Джим стал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Но толку всё равно никакого не было; Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочём не станет говорить. У меня нашлась старая фальшивая монета в четверть доллара, которая никуда не годилась, потому что медь просвечивала сквозь серебро; но даже и без этого её нельзя было сбить с рук — такая она сделалась скользкая, точно сальная на ощупь: сразу видать, в чём дело. (Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья.) Я сказал, что монета плохая, но, может, шар её возьмёт, не всё ли ему равно. Джим понюхал её, покусал, потёр и обещал сделать так, что шар примет её за настоящую. Надо разрезать сырую картофелину пополам, положить в неё монету на всю ночь, а наутро меди уже не будет заметно и на ощупь она не будет скользкая, так что её и в городе кто угодно возьмёт с удовольствием, а не то что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это.

Джим сунул монету под шар и лёг и опять прислушался. На этот раз всё оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй», — говорю.

Вот шар и стал нашёптывать Джиму, а Джим пересказывал мне. Он сказал:

— Ваш папаша сам ещё не знает, что ему делать. То думает, что уйдёт, а другой раз думает, что останется. Всего лучше ни о чём не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, а другой — весь чёрный. Белый его поучит-поучит добру, а потом прилетит чёрный и всё дело испортит. Пока ещё нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но всё обойдётся в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, потому вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице.

Когда я вечером зажжёт свечку и вошёл к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной!



## Глава V

**Я** затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю — вот он, папаша! Я его всегда боялся — уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался, а потом я понял, что ошибся, то есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная, у меня даже дух захватило — так он неожиданно появился, только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем.

Отцу было лет около пятидесяти, и на вид не меньше того. Волосы у него длинные, нечёсанные и грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы чёрные, совсем без седины, и длинные свалывшиеся баки, тоже чёрные. В лице, хоть его почти не видно из-за

волос, нет ни кровинки — оно совсем бледное; но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, — как рыбе брюхо или как лягу. А одежда — сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено; сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу — старая, чёрная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой.

Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я заметил, что окно открыто: значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пяток, потом говорит:

— Ишь ты как вырядился — фу-ты ну-ты! Небось думаешь, что ты теперь важная птица, так, что ли?

— Может, думаю, а может, и нет, — говорю я.

— Ты смотри, не очень-то груби! — говорит. — Понабрался дури, пока меня не было! Я с тобой живо разделаюсь, собью с тебя спесь! Тоже, образованный стал — говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подмётки теперь не годится, раз он неграмотный? Это всё я из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?

— Вдова велела.

— Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в своё дело?

— Никто не позволял.

— Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят! А ты, смотри, школу свою брось. Слышишь? Я им покажу! Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом, важность на себя напустил какую! Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, каким франтом вырядился! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю.

Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату.

— Правильно. Читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю! Следить за тобой буду, фронт этакий, и ежели только поймаю около этой самой школы, всю шкуру спущу! Всыплю тебе — опомниться не успеешь! Хорош сынок, нечего сказать!

Он взял в руки синюю с жёлтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил:

— Это ещё что такое?

— Это мне дали за то, что я хорошо учусь.

Он разодрал картинку и сказал:

— Я тебе тоже дам кое-что: ремня хорошего!

Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, потом сказал:

— Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковёр на полу, а родной отец должен валяться на кожевенном заводе вместе со свиньями! Хорош сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь повыыбью! Ишь напустил на себя важность — разбогател, говорят! А? Это каким же образом?

— Всё врут — вот каким.

— Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел, терпел, а больше терпеть не намерен, так что ты мне не груби. Два дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твоё богатство. И ниже по реке я тоже про это слышал. Поэтому и приехал. Ты мне эти деньги доставь к завтраму — они мне нужны.

— Нет у меня никаких денег.

— Врёшь! Они у судьи Тэтчера. Ты их возьми. Они мне нужны.

— Говорят вам, нет у меня никаких денег! Спросите сами у судьи Тэтчера, он вам то же скажет.

— Ладно, я его спрошу; уж я его заставлю сказать! Он у меня раскошелится, а не то ему покажу! Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги.

— Всего один доллар, и тот мне самому нужен...



— Мне какое дело, что он тебе нужен! Давай, и всё тут.

Он взял монету и куснул её — не фальшивая ли, потом сказал, что ему надо в город, купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но тут опять просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался всякой дури и знать не хочу родного отца. После этого я уж думал было, что он совсем ушёл, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережёт и вздует как следует.

На другой день отец напился пьян, пошёл к судье Тэтчеру, отругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло; тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду.

Вдова с судьёй Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны; только судья был новый, он недавно приехал и ещё не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, а ещё ему не хотелось бы отнимать у отца единственного ребёнка. Так что вдове с судьёй Тэтчером пришлось отступить.

Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал отодрать меня ремнём до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи, а старик их отнял и напился пьян и в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в скорородку чуть ли не до полуночи; его поймали и посадили под замок, а наутро довели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен: своему сыну он теперь хозяин и покажет ему, где раки зимуют.

После того как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привёл старика к себе в дом, одел его с головы до ног во всё чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьёй и завтракать, и обедать, и ужинать — можно сказать, принял его, как родного. А после ужина он завёл разговор насчёт трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла и он сознался,

что столько лет вёл себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство, и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесётся к нему с презрением. Судья сказал, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился; и жена его тоже заплакала; а отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек; и судья ответил, что он этому верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии; и судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезились. А перед тем как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку:

— Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите её и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело: теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрёт, а уж за старое не возьмётся. Попомните мои слова, не забывайте, что я их сказал! Теперь это чистая рука. Пожмите её, не бойтесь!

И все они один за другим, по очереди, пожали ему руку и прослезились. А жена судьи так даже поцеловала ему руку. После этого отец дал зарок не пить и вместо подписи крест поставил. Судья сказал, что это историческая, святая минута... что-то вроде этого. Старика отвели в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить; он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутылку со-рокаградусной, влез обратно и давай пировать; и на рассвете опять полез в окно, пьяный как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замёрз насмерть; кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли досмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глубину лотом, прежде чем пускаться вплавь.

Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.



## Глава VI

Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтоб он отдал мои деньги, а потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил, только я всё равно ходил в школу, а от него всё время прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд всё откладывали; похоже было, что никогда и не начнут, так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара два-три для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался пьян; и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил; и всякий раз, как он набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен: такая жизнь была ему как раз по душе.

Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы, и наконец та ему пригрозила, что, если он этой привычки не бросит, ему придётся плохо. Ну и взбеленился же он! Обещал, что покажет, кто Геку Финну хозяин.

И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увёз в лодке мили за три вверх по реке, а там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса, так что и найти её было невозможно, если не знать, где она стоит.

Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружьё — украл, наверно, где-нибудь, — и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу; этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за три, к перевозу, там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова всё-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала мне на выручку человека, но отец прогнал его, пригрозив ружьём. А в скором времени я и сам привык тут жить, и мне даже нравилось — всё, кроме ремня.

Жилось ничего себе — хоть целый день ничего не делай, знай покуривай да лови рыбу; ни тебе книг, ни учёнья. Так прошло месяца два, а то и больше, и я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме, где надо было умываться, и есть с тарелки, и причёсываться, и ложиться и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой, да ещё старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит всё время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила, а теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось вовсе не плохо.

Но мало-помалу старик распустился, повадился драться палкой, и этого я не стерпел. Я был весь в рубцах. И дома ему больше не сиделось: уедет, бывало, а меня запрёт. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался три дня. Такая была скучища! Я так и думал, что он потонул и мне никогда отсюда не выбраться. Мне стало страшно, и я решил, что как-никак, а надо будет удрать. Я много раз пробовал выбраться из дома, только всё не мог найти лазейки. Окно было такое, что и собаке не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог: она оказалась чересчур узка. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого; я, должно быть, раз сорок обыскал всё кругом и, можно сказать, почти всё время только этим и занимался, потому что больше делать всё равно было нечего. Однако на этот раз я всё-таки нашёл кое-что: старую, ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кровельной дранкой. Я её смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки, за столом, была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна — такой, чтобы мне можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, но дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу отцово ружьё. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу, а скоро и отец явился.

Он был сильно не в духе — то есть такой, как всегда. Рассказал, что был в городе и что всё там идёт чёрт знает как. Адвокат сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если им удастся довести дело до суда, но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэтчер сумеет это устроить. А ещё ходят слухи, будто бы затевается новый процесс, для того чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове, и на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них там называется. Тут старик пошёл ругаться и ругал всех и каждого, кто только на язык попадётся, а потом ещё раз выругал всех подряд для верности, чтоб уж никого не пропустить, а после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвал как нельзя хуже и пошёл себе чертыхаться дальше.

Он орал, что ещё посмотрит, как это вдова меня отберёт, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в шести или семи отсюда, и пускай тогда ищут хоть сто лет — всё равно не найдут. Это меня опять-таки расстроило, но ненадолго. Думаю себе: не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезёт!

Старик послал меня к ялику перенести вещи, которые он привёз: мешок кукурузной муки фунтов на пятьдесят, большой кусок копчёной грудинки, порох и дробь, бутылка виски в четыре галлона, а ещё старую книжку и две газеты для пыхей, и ещё паклю. Я вынес всё это на берег, а потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал всё как следует и решил, что, когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружьё и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране — лучше по ночам; пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей; и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьётся, а уж напьётся-то он обязательно! Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там — сплю или утонул.

Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки; духу у него прибавилось, и он опять разошёлся. Он выпил ещё в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь на него просто смотреть было страшно. Ни дать ни взять Адам — сплошная глина<sup>1</sup>. Когда его, бывало, развезёт после выпивки, он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже:

— А ещё называется правительство! Ну на что это похоже, полюбуйтеся только! Вот так закон! Отбирают у человека сына — родного сына, а ведь человек его растил, заботился, деньги на него тратил! Да! А как только вырастил в конце концов этого сына, думаешь: пора бы и отдохнуть, пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь, — тут закон его и цап! И это называется правительство! Да ещё мало того: закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает: берёт человека с капиталом в шесть тысяч долларов, даже больше, пихает его вот в эту старую хибарку, вроде западни, и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А ещё называется правительство! Человек у такого правительства своих прав добиться не может. Да что, в самом деле! Иной раз думаешь: вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да, я им так и сказал, прямо в глаза старику Тэтчеру так и сказал! Многие слышали и могут повторить мои слова. Говорю: «Да я ни за грош бросил бы эту проклятую страну и больше в неё даже не заглянул бы! — Вот этими самыми словами. — Взгляните, говорю, на мою шляпу, если, по-вашему, это шляпа. Верх отстаёт, а всё остальное сползает ниже подбородка, так что и на шляпу вовсе не похоже, голова сидит, как в печной трубе. Поглядите, говорю, вот какую шляпу приходится носить, а ведь я из первых богачей в городе, только вот никак не могу добиться своих прав».

Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное! Ты только послушай. Был там один вольный негр из Огайо — мулат, почти такой же белый, как белые люди.

---

<sup>1</sup> Согласно Библии, Бог создал первого человека из глины (древнееврейское слово «адама» значит земля, «адам» — человек).

Рубашка на нём белей снега, шляпа так и блестит, и одет он хорошо, как никто во всём городе: часы с цепочкой на нём золотые, палка с серебряным набалдашником — просто фу-ты ну-ты, важная персона! И как бы ты думал? Говорят, будто он учитель в каком-то колледже, умеет говорить на разных языках и всё на свете знает. Да ещё мало того. Говорят, будто он имеет право голосовать у себя на родине. Ну, этого я уж не стерпел. Думаю, до чего ж мы этак дойдём? Как раз был день выборов, я и сам хотел идти голосовать, кабы не хлебнул лишнего, а когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял да и не пошёл, сказал, что больше никогда голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали. Да пропади пропадом вся страна — всё равно я больше никогда в жизни голосовать не буду! И смотри ты, как этот негр нахально себя ведёт: он бы и мне дороги не уступил, кабы я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать! И как бы ты думал, что мне ответили? «Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживёт в этом штате полгода, а он ещё столько не прожил». Ну, вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате шести месяцев? А ещё называется правительство, и выдаёт себя за правительство, и воображает, будто оно правительство, а целые полгода с места не может сдвинуться, чтоб забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке и...

Папаша до того разошёлся, что уж не замечал, куда его несут ноги, а они его не больно-то слушались, так что он полетел вверх тормашками, наткнувшись на бочонок со свининой, ободрал себе колени и принялся ругаться на чём свет стоит; больше всего досталось негру и правительству, ну и бочонку тоже, между прочим, влетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку! Только напрасно он это сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него прорвался и два пальца торчали наружу; он так взвыл, что у кого угодно поднялись бы волосы дыбом, повалился и стал

кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы, а ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счёт не шла. После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Соуберри Хэгана в его лучшие дни, так будто бы он и его превзошёл; но, по-моему, это уж он хватил через край.

После ужина отец взялся за бутылку и сказал, что виски ему хватит на две попойки и одну белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьётся вдребезги и уснёт, а тогда я украду ключ или выпилю кусок бревна и выберусь наружу; либо то, либо другое. Он всё пил и пил, а потом повалился на своё одеяло. Только мне не повезло. Он не уснул крепко, а всё ворочался, стонал, мычал и метался во все стороны; и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул, а свеча осталась гореть.

Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец как сумасшедший метался во все стороны и кричал: «Змеи!» Он жаловался, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил да как взвизгнет — говорит, будто одна укусила его в щёку, — но я никаких змей не видел. Он начал бегать по комнате, всё кругом, кругом, а сам кричит: «Сними её! Сними её! Она кусает меня в шею!» Я не видывал, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается; потом стал кататься по полу быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны и молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало-помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал, потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин и воют волки, и от этого тишина стала ещё страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову набок, и говорит едва слышно:

— Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они холодные! Пустите... Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!..





Потом он стал на четвереньки и пополз, и всё просит мертвецов, чтоб они его не трогали; завернулся в одеяло и полез под стол, а сам всё просит, потом как заплачет! Даже сквозь одеяло было слышно.

Скоро он сбросил одеяло, вскочил на ноги как полоумный, увидел меня и давай за мной гоняться. Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом, звал меня Ангелом Смерти, кричал, что он меня убьёт, и тогда я уже больше не приду за ним. Я его просил успокоиться, говорил, что это я, Гек; а он только смеялся, да так страшно! И всё ругался, орал и бегал за мной. Один раз, когда я извернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня сзади за куртку и... я уже думал было, что тут мне и крышка, однако выскочил из куртки с быстротой молнии и этим спасся. Скоро старик совсем выдохся; сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнёт минутку, а потом уж убьёт меня. Нож он подsunул под себя и сказал, что поспит сначала, наберётся сил, а там посмотрит, кто тут есть.

Он очень скоро задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтоб не наделать шума, и снял со стены ружьё. Я засунул в него

шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет, потом пристроил ружьё на бочонок с репой, а сам улёгся за бочонком, нацелился в папашу и стал дожидаться, когда он проснётся. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время!



## Глава VII

— **В**ставай! Чего это ты выдумал?

Я открыл глаза и оглянулся, силясь понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло — значит, я спал долго. Надо мной стоял отец; лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал:

— Что это ты затеял с ружьём?

Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал:

— Кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его.

— А почему же ты меня не разбудил?

— Я пробовал, да ничего не вышло: не мог вас растолкать.

— Ну ладно... Да не стой тут без толку, нечего языком чекать! Поди погляди, не попалась ли на удочки рыба к завтраку. Я через минуту приду.

Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякий сор и даже куски коры — значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начнётся, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов, иной раз брёвен по двенадцати вместе: только и дела, что ловить их да продавать на дровяные склады и на лесопилку.

Я шёл по берегу и одним глазом всё высматривал отца, а другим следил, не принесёт ли река что-нибудь подходящее. И вдруг, гляжу, плывёт челнок, да какой — просто чудо! — футов тринадцать или четырнадцать в длину; несётся вовсю, как миленький. Я бросился в воду головой вниз, по-лягушачьи,

прямо в одежде, и поплыл к челноку. Я так и ждал, что кто-нибудь в нём лежит — у нас часто так делают шутки ради, а когда подплывёшь почти к самому челноку, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой, я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит: долларов десять такая штука стоит! Но когда я добрался до берега, отца ещё не было видно, я завёл челнок в устье реки, заросшее ивняком и диким виноградом; и тут мне пришло в голову другое: думаю, спрячу его получше, а потом, вместо того чтоб убежать в лес, спущусь вниз по реке миль на пятьдесят и поживу подольше на одном месте, а то чего ради бедствовать, таскаясь пешком!

От хибарки это было совсем близко, и мне всё казалось, будто идёт мой старик, но я всё-таки спрятал челнок, а потом взял да и выглянул из-за куста; гляжу, отец уж спустился к реке по тропинке и целится из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел.

Когда он подошёл, я усердно трудился, вытаскивая лесу. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь; но я ему наврал, будто бы свалился в воду, оттого и провозился так долго. Я так и знал — папаша заметит, что я весь мокрый, и начнёт расспрашивать. Мы сняли с удочек пять сомов и пошли домой.

Оба мы замаялись и легли после завтрака соснуть, и я принялся обдумывать, как бы мне отвадить вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда верней, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убежать далеко, пока они тебя хватятся, мало ли что может случиться! Я долго ничего не мог придумать, а потом отец встал на минутку выпить воды и говорит:

— Если кто-нибудь в другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня, слышишь? Этот человек не с добром сюда приходил. Я его застрелю. Если он ещё придёт, ты меня разбуди, слышишь?

Он повалился и опять уснул: зато его слова надоумили меня, что надо делать. Ну, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придёт меня разыскивать.

Часам к двенадцати мы встали и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота — девять брёвен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом пообедали. Всякий на месте папаши просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше, но это было не в его обычае. Девяти брёвен на один раз для него было довольно; ему загорелось ехать в город продавать. Он меня запер, взял лодку и около половины четвёртого потащил плот на буксире в город. Я сообразил, что в эту ночь он домой не вернётся, подождал, пока, по моим расчётам, он отъедет подальше, потом вытащил пилу и опять принялся пилить то бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю; лодка вместе с плотом казалась просто пятнышком на воде где-то далеко-далеко.

Я взял мешок кукурузной муки и отнёс его туда, где был спрятан челнок, раздвинул ветви и спустил в него муку; потом отнёс туда же свиную грудинку, потом бутылку с виски. Я забрал весь сахар и кофе и сколько нашлось пороху и дроби; забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два одеяла, котелок и кофейник. Я унёс и удочки, и спички, и остальные вещи — всё, что стоило хотя бы цент. Забрал всё дочиста. Мне нужен был топор, только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах, а я уж знал, почему его надо оставить на месте. Я вынес ружьё, и теперь всё было готово.

Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Следы я хорошенько засыпал сверху землёй, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпиленный кусок бревна на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнуто и не совсем доходило до земли. Шагов за пять от стены, если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что нельзя было этого заметить, да ещё и стена-то задняя — вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать.

До самого челнока я шёл по траве, чтобы не оставлять следов. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке.

Всё спокойно. Тогда я взял ружьё и зашёл поглубже в лес, хотел подстрелить какую-нибудь птицу; а потом увидел дикого поросёнка: в здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросёнка и понёс его к хибарке.

Я взял топор и взломал дверь, причём постарался изрубить её посильнее; принёс поросёнка, подтащил его поближе к столу, перерубил ему шею топором и положил его на землю, чтобы вытекла кровь (я говорю: «на землю», потому что в хибарке не было дощатого пола, а просто земля — твёрдая, сильно утопанная). Ну, потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, сколько мог снести, и поволок его от убитого поросёнка к дверям, а потом по лесу к реке и бросил в воду; он пошёл ко дну и скрылся из виду. Сразу бросалось в глаза, что здесь что-то тащили по земле. Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Соьер: я знал, что таким делом он заинтересуется и сумеет придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Соьера.

Напоследок я вырвал у себя клочок волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к лезвию и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросёнка и понёс его, завернув в куртку (чтобы не капала кровь), а когда отошёл подальше от дома, вниз по течению реки, то бросил поросёнка в реку. Тут мне пришла в голову ещё одна штука. Я достал из челнока мешок с мукой и старую пилу и отнёс их в дом. Я поставил мешок на старое место и прорвал в нём снизу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось, — отец, когда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к востоку от дома, где было мелкое озеро миль в пять шириной, всё заросшее тростником, уток там тоже под осень бывало очень много. С другой стороны из озера вытекала заболоченная речка или ручей, который тянулся на много миль — не знаю куда, только не впадал в реку. Мука сеялась всю дорогу, так что получилась тоненькая белая стёжка до самого озера. Я ещё бросил там папашин точильный камень, чтобы похоже было, будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке

верёвочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнёс мешок вместе с пилой обратно в челнок.

Когда почти совсем стемнело, я спустил челнок вниз по реке до такого места, где ивы нависли над водой, и стал ждать, пока взойдёт луна. Я привязал его покрепче к иве, потом перекусил малость, а после того улёгся на дно выкурить трубочку и обдумать свой план. Думаю себе: они пойдут по следу мешка с камнями до берега, а потом начнут искать моё тело в реке. А там пойдут по мучному следу до озера и по вытекающей из него речке искать преступников, которые убили меня и украли вещи. В реке они ничего искать не станут, кроме моего мёртвого тела. Скоро им это надоест, и больше они беспокоиться обо мне не будут. Ну и отлично, а я смогу жить там, где мне захочется. Остров Джексона мне вполне подходит, я этот остров хорошо знаю, и там никогда никого не бывает. А по ночам можно будет переправляться в город: пошатаюсь там и подтиблю, что мне нужно. Остров Джексона — самое для меня подходящее место.

Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река казалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все брёвна, которые плыли мимо, чёрные и с виду неподвижные, очень далеко от берега. Кругом стояла мёртвая тишина, по всему было видеть, что поздно, и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать... не знаю, как это выразить словами.

Я хорошенько потянулся, зевнул и только хотел было отвязать челнок и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донёсся шум. Я прислушался и скоро понял, в чём дело: это был тот глухой ровный стук, какой слышишь, когда вёсла ворочаются в уключинах тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы — так и есть: далеко, около того берега, плывёт лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Думаю, уж не отец ли, хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, а потом подгрёб к берегу по тихой воде, причём проплыл так близко от меня, что я мог бы дотронуться до

него дулом ружья. И правда, это был отец — да ещё трезвый, судя по тому, как он работал вёслами.

Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению, без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал мили две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих брёвен, а потом лёг на дно челнока и пустил его по течению. Я лежал, отдыхая и покуривая трубочку, и глядел в небо — ни облачка на нём. Небо кажется таким глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь; раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь! Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже всё, что они говорят — всё до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся всё длинней, а ночи всё короче. Другой ответил, что эта ночь, ему думается, не из коротких, и тут они засмеялись; он повторил свои слова — и они опять засмеялись; потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему; только он не засмеялся, он буркнул что-то отрывистое и сказал, чтоб его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно это расскажет своей старухе, ей, наверно, очень понравится; но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в своё время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около трёх часов и он надеется — рассвет задержится не больше чем на неделю. После этого голоса стали всё удаляться и удаляться, и я уже не мог разобрать слов, слышал только неясный говор да время от времени смех, и то, казалось, очень издалека.

Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и увидел милях в двух с половиной ниже по течению остров Джексона, весь заросший лесом, он стоял посередине реки, большой, тёмный и массивный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было и следов отмели — вся она была теперь под водой.

До острова я добрался в два счёта. Я стрелой пронёсся мимо верхней его части — такое быстрое было течение, — потом вошёл в стоячую воду и пристал с той стороны, которая

ближе к иллинойсскому берегу. Я направил челнок в глубокую выемку берега, которую знал давно; мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтоб попасть туда; а когда я привязал челнок, снаружи его никто не заметил бы.

Я вышел на берег, сел на бревно в верхней части острова и стал смотреть на широкую реку, на чёрные плывущие брёвна и на город в трёх милях отсюда, где ещё мерцали три-четыре огонька. Огромный плот плыл по реке: сейчас он был милей выше острова, и посередине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает всё ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул: «Эй, на корме! Бери правей!» Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом.

Небо стало понемногу светлеть; я пошёл в лес и лёг соснуть перед завтраком.



## Глава VIII

**К**огда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверно, было уже больше восьми часов. Я лежал на траве, в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просветы между листвой видно было солнце, но вообще тут росли всё больше высокие деревья, и под ними было очень мрачно. Там, где солнечный свет просеивался сквозь листву, на земле лежали пятнышки вроде веснушек, и эти пятнышки слегка двигались, значит, наверху был ветерок. Две белки уселись на сучке и, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно.

Я разленился, мне было очень хорошо и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я было опять задремал, как вдруг мне послышалось, что где-то выше по реке раскатилось глухое «бум!». Я проснулся, приподнялся на локте и прислушался; через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскочил, побежал на берег и посмотрел сквозь листву; гляжу, по воде



расплывается клуб дыма, довольно далеко от меня, почти наравне с пристанью. А вниз по реке идёт пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чём дело! Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. Это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, чтоб мой труп всплыл наверх.

Я здорово проголодался, только разводить костёр мне было никак нельзя, потому что они могли увидеть дым. Я сидел, глядя на пороховой дым, и прислушивался к выстрелам. Река в этом месте доходит до мили в ширину, а в летнее утро смотреть на неё всегда приятно, так что я проводил бы время очень недурно, глядя, как ловят мой труп, если бы только было чего поесть. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда наливают ртуть в ковриги хлеба и пускают по воде, потому что хлеб всегда плывёт прямёхонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть в оба: как бы не прозевать, если какая-нибудь коврига подплывёт ко мне поближе. Я перебрался на иллинойсский край острова; думаю — может, мне и повезёт. И не ошибся: гляжу, плывёт большая коврига, и я уже было подцепил её длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу, — настолько-то я смыслил. Через некоторое время подплывает другая коврига, и на этот раз я её не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути, запустил в ковригу зубы. Хлеб был белый, какой только господа едят, не то что простецкая кукурузная лепёшка.

Я выбрал хорошенькое местечко, где листва была погуще, и уселся на бревно, очень довольный, жуя хлеб и поглядывая на пароходик. И вдруг меня осенило. Говорю себе: уж наверно вдова, или пастор, или ещё кто-нибудь молился, чтобы этот хлеб меня отыскал. И что же, так оно и вышло. Значит, правильно: молитва доходит, то есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор; а моя молитва не действует. И по-моему, она только у праведников и действует.

Я закурил трубочку и довольно долго сидел — курил и смотрел, что делается. Пароходик шёл вниз по течению, и я

подумал, что, когда он подойдёт ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту, а пароход должен был подойти совсем близко к берегу, в том месте, куда прибило хлеб.

Как только пароходик подошёл поближе, я выколотил трубку и побежал туда, где я выловил хлеб, и лёг за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилиной, и я стал в неё смотреть.

Скоро пароходик поравнялся с берегом; он шёл так близко от острова, что можно было перекинуть сходни и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал: отец, судья Тэтчер, Бекки Тэтчер, Джо Гарпер, Том Сойер со старухой тётёй Полли, Сидом и Мэри и ещё много других. Все разговаривали про убийство. Но тут вмешался капитан и сказал:

— Теперь смотрите хорошенько! Здесь течение подходит всего ближе к берегу: может, тело выбросило на берег и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Во всяком случае, будем надеяться.



Ну, а я надеялся совсем на другое. Все они столпились на борту и, наклонившись над перилами, старались вовсю — глядели чуть ли не в самое лицо мне. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан скомандовал: «От борта!» — и пушка выпалила прямо в меня, так что я оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма; думал — тут мне и конец. Если бы пушка у них была заряжена ядром, то они наверняка получили бы то самое мёртвое тело, за которым гонялись. Ну, опомнился — гляжу, ничего мне не сделалось, цел, слава богу. Пароход прошёл мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Время от времени я слышал выстрелы, но всё дальше и дальше; а после того как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в три мили длиной. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока ещё нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх по миссурийскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Я перебрался на ту сторону острова и стал на них смотреть. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к миссурийскому берегу и пошёл обратно в город.

Я понял, что теперь могу успокоиться. Больше никто меня искать не станет. Я выбрал свои пожитки из челнока и устроил себе уютное жильё в чаще леса. Из одеял я соорудил что-то вроде палатки, для того чтобы вещи не мочило дождём. Я поймал сомёнка, распорол ему брюхо пилой, а на закате развёл костёр и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку.

Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сперва очень недурно, а когда соскучился, то пошёл на берег и слушал, как плещется река, считал звёзды, брёвна и плоты, которые плыли мимо, а потом лёг спать. Нет лучше способа провести время, когда соскучишься: уснёшь, а там, глядишь, куда и скука девалась.

Так прошло три дня и три ночи. Никакого разнообразия — всё одно и то же. Зато на четвёртый день я обошёл кругом весь остров, исследовал его вдоль и поперёк. Я был тут хозяин, весь остров принадлежал мне, так сказать, — надо

же было узнать о нём побольше, а главное, надо было убить время. Я нашёл много земляники, крупной, совсем спелой, зелёный виноград и зелёную малину, а ежевика только-только начала завязываться. «Всё это со временем придётся очень кстати», — подумал я.

Ну, я пошёл шататься по лесу и забрёл в самую глубь, наверно, к нижнему концу острова. Со мной было ружьё, только я ничего не подстрелил: я его взял для защиты, а какую-нибудь дичь решил добыть поближе к дому. И тут я чуть не наступил на здоровенную змею, но она ускользнула от меня, извиваясь среди травы и цветов, а я пустился за ней, стараясь подстрелить её; пустился бегом — и вдруг наступил прямо на головни костра, который ещё дымился.

Сердце у меня заколотилось. Я не стал особенно разглядывать, осторожно спустил курок, повернул и, прячась, побежал со всех ног обратно. Время от времени я останавливался на минутку там, где листва была погуще, и прислушивался, но дышал так громко, что ничего не мог слышать. Прокрался ещё подалее и опять прислушался, а там опять и опять. Если я видел пень, то принимал его за человека; если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переломил пополам и у меня осталась короткая половинка.

Когда я добрался до дому, мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. «Однако, — думаю, — сейчас не время валять дурака». Я поскорей собрал свои пожитки и отнёс их в челнок, чтобы они не были на виду; загасил огонь и разбросал золу кругом, чтобы костёр был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево.

Я, должно быть, просидел на этом дереве часа два, но так ничего и не увидел и не услышал, мне только чудилось, будто я слышу и вижу много всякой всячины. Ну, не сидеть же там целый век! В конце концов я взял да и слез, засел в чаще и всё время держался настороже. Поесть мне удалось только ягод да того, что осталось от завтрака.

К тому времени, как стемнело, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке и, пока луна не взошла, переправился на иллинойский

берег — за четверть мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь, как вдруг слышу: «цок-цок, цок-цок», — и думаю: это лошади бегут, а потом слышу и голоса. Я поскорее собрал всё опять в челнок, а сам, крадучись, пошёл по лесу — не узнаю ли чего-нибудь. Отошёл я не так далеко и вдруг слышу голос:

— Нам лучше остановиться здесь, если найдём удобное место; лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим...

Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нём.

Спал я неважно: почему-то никак не мог уснуть, всё думал. И каждый раз, как просыпался, мне всё чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошёл мне на пользу. В конце концов говорю себе: «Нет, так невозможно! Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю!» И после этого мне сразу стало как-то легче.

Я взял весло, оттолкнулся шага на два и повёл челнок вдоль берега, держась всё время в тени. Вошла луна; там, где не было тени, было светло, почти как днём. Я грёб чуть ли не целый час; везде было тихо, и всё спало мёртвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь, значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу, потом вылез и, крадучись, пошёл к опушке леса. Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты и реку начало заволакивать тьмой; потом над деревьями забелела светлая полоска, и я понял, что скоро рассветёт. Тогда я взял ружьё и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошёл к тому месту, где я наступил на золу от костра. Только мне что-то не везло: никак не мог найти то место. Потом, смотрю, так и есть: сквозь деревья мелькает огонёк. Я стал подкрадываться, осторожно и не торопясь. Подошёл поближе; смотрю — на земле лежит человек. Я чуть не умер со страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть не в самый костёр. Я сидел за кустами футах в шести от костра и не сводил с него глаз. Теперь уже